

«GOOD WAR / ХОРОШАЯ ВОЙНА»

Роберт РАЗМУС	...5
Ричард М. (Ред) ПРЕНДЕРГАСТ	...16
Жак РАБУ	...27
Джон ЭББОТТ	...33
Адмирал Джин ЛЯ РОК	...42
Джон Кеннет ГЭЛБРАЙТ	...48

Перевод с англ. – Т. Чердиченко, Е. Лавут и О. Никифоров (2010)
по изданию: Studs Terkel. “The Good War”. An oral history of World War Two.
The New Press. N.-Y., London. © 1984 by Studs Terkel.
for presentational & educational purposes only

Роберт РАЗМУС

После войны я прожил уже тридцать восемь лет, а до нее – около двадцати лет. Для меня это разные эпохи – д.в. и п.в. – до и после войны. И подозреваю, многие считают так же. На работе я говорю порой, мол, это страшно меня беспокоит, но по сравнению с переправой через реку под обстрелом все это конечно – пустяки. (*Смеется.*)

Седящий человек, ростом примерно метр девяносто – метр девяносто пять. Член правления компании, работает недалеко от Чикаго. Явно заботится о своей физической форме. Ведет себя спокойно, вежливо, непринужденно.

Было такое странное чувство, что ты – участник мировой драмы. В сентябре 39-го года, когда немцы вторглись в Польшу, мне было четырнадцать, и помню, мать сказала: «Тебя это не минует». Как я надеялся, что она окажется права! В таком возрасте мечтаешь о славе и совсем не думаешь про всякие ужасы.

И действительно, я попал не просто в армию, но даже в пехоту. Постепенно, шаг за шагом, и наша дивизия оказалась на поле боя. И вдруг ты – в отряде, на передовой. В самой гуще событий. Думаешь: что я здесь делаю, среди мирового катаклизма? (*Смеется.*)

Конечно, я видел войну в фильмах, в кинохронике. Но на моей памяти в нашей стране-то войны не было. Все казалось нереальным. Ты внезапно перенесен в самое пекло, видишь, как умирают люди, и с ума сходишь от страха, что тебе самому снесут башку. (*Смеется.*)

Я прекрасно понимал, что у стрелка-пехотинца шансы умереть весьма велики. С одной стороны – животный страх. И это очень неприятно. Но с другой, - это такое захватывающее приключение. Бог мой, я переплыл океан, вижу войска, потрясающе. Я – здесь.

В отличие от большинства, я был таким тощим и костлявым маменькиным сыночком. Мне предстояло возмужать на фронте. Навсегда избавиться от чувства неполноценности, от ощущения, что я недостаточно крепкий и сильный. Я собирался доказать, что мне хватит мужества выстоять. Мол, я, тощий девятнадцатилетний парень, Бобби Размус, оправдаю надежды, ведь я – настоящий гражданин западного мира. (*Смеется.*)

Хорошо помню мать во время тридцатидневной увольнительной. Она плакала непрерывно. И повторяла: «Боб, обязательно скажи своему командиру, что ты слишком высокий для стрелка». (*Смеется.*) Чтобы успокоить ее, я отвечал: «Да-да, мам, скажу». Разумеется, я ничего такого не сказал.

Наша военная подготовка проходила в Форт-Беннинг, Джорджия. Тех, кто заболел и отсутствовал больше недели, отчисляли из батальона. Я подхватил грипп и лежал восемь дней. Поэтому меня перевели из подразделения, где были все мои друзья. Как же я расстроился!

Моя первоначальная группа вошла в 106-ю дивизию, которую в конечном итоге разгромили в Арденнах. Помню, писал друзьям письма, и они возвращались с пометками: «Без вести пропал в бою», «Погиб в бою» Им всем было лет по восемнадцать. И только из-за гриппа меня не было среди них.

До армии я бывал лишь в трех штатах: Висконсин, Индиана, Мичиган. И когда в первое утро проснулся в эшелоне в Фултоне, Кентукки, то чувствовал себя словно в Тимбукту. Разумеется, Европа меня поразила – замки, соборы, Альпы. Это было изумительно. Главной задачей, конечно, было остаться в живых и выполнить свой долг, и, тем не менее, краем глаза, я все время любовался великолепными немецкими лесами и средневековыми колокольнями. В девятнадцать у тебя еще свежий взгляд на жизнь.

Новоанглийский акцент я впервые услышал в Форт-Беннинг. Южане были для меня чем-то экзотическим. Выходцы с ферм. Щеголеватые нью-йоркцы. У нас там смешались самые разные люди. А как раз в том возрасте человеку больше всего нужны друзья. Я до сих пор вижу с некоторыми из них. Это особое родство.

Во время высадки на побережье тобой движет не патриотизм или отвага. Думаешь о товарищах и стараешься не подвести их. Тот грипп, вероятно, спас мне жизнь. Но тогда это было для меня катастрофой.

Курт Воннегут в «Бойне номер пять» пишет о бомбарди-

ровке Дрездена зажигательными боеприпасами и о поезде с военнопленными в Германии. Многие из моих друзей, попавших в плен, находились в этом самом поезде. Я узнал об этом всего три дня тому назад, когда человек средних лет с такой же, как у меня сединой, вдруг остановил меня на улице и спросил: «Эй, а ты случайно не Боб Размус?» И я ответил: «А ты – Ред Прендергаст?» Он был в той первой группе, вошедшей в 106-ю дивизию, и позже оказался в военном эшелоне, который разбомбили. Я общался с ним всего пять месяцев, это было тридцать девять лет тому назад, и с тех пор ни разу его не видел. Я был в бою всего шесть недель, но помню каждый час, каждую минуту этих сорока двух дней.

Первый видимый след войны встретил нас в Бостонском порту – австралийский крейсер, стоявший на причале рядом с нашим судном. В носовой части у него была огромная рваная дыра. Предвестие того, что нас ожидает. А у нас в головах – только бравада, ребячество.

Что думали о Франции мы, выросшие в 30-е годы? Французские девушки, французские пудельки, легкомысленные люди. Так что мы удивились, увидев крепких, невозмутимых крестьян, идущих за плугом. Район, где мы высадились, еще не тронула война. Я был покорен невероятной красотой сельских пейзажей, маленьких деревушек, церквей. Это напоминало работы импрессионистов.

По дороге на фронт мне запомнились бельгийские города: Льеж, Намур. Мы проезжали через города и деревни. Мы высывались из вагонов, кто-то даже ехал на крыше. У нас в пайке (так называемый «рацион К») были разные сладости, которые мы бросали детям. Это была атмосфера победы. Все вокруг ликовали. Их уже освободили.

И вдруг все меняется. Мы сходим с поезда на голландско-немецкой границе возле Аахена. Он буквально стерт с лица земли бомбардировками союзников. Одни развалины. Весь этот древний город превратился в груды камней. На протяжении двух дней мы с гордостью ощущали себя частью победоносной армии. Теперь праздник кончился. Мы – в нескольких километрах от фронта. Из поезда мы пересели в грузовики. В отдалении слышна артиллерия.

Мы быстро осознали всю серьезность положения. Проехав несколько километров, увидели другой город – Дюрен. Там камня на камне не осталось. Кажется, это был наиболее жестоко

разбомбленный город Германии. Дальше мы шли пешком.

Нас направили, так сказать, на «тихий фронт». Наша дивизия встала на Рейне, к югу от Кельна. Мы просто сменили на посту Восьмую дивизию. Заняли те же окопы. Ты понимаешь, что скоро начнется. Но все еще чувствуешь возбуждение. Пока никого не убили. Меня очень интересовала архитектура. Я изда- лека видел Кельнский собор, его две башни.

Мы жили в разрушенных домах. Сюрреалистическое зрелище. Видишь поперечное сечение четырехэтажного дома: с одной стороны дома все комнаты открыты наружу, а с другой – нормальные, целые. Мы видели такое повсюду в Европе.

В самую первую ночь наше отделение расположилось в комфортабельном жилище. Одной стены не было, но с другой были кровати, кухни и все прочее. Словно театральные декорации. Мы не чувствовали вины, за то что живем в чужих квартирах, потому что немцы – это зло и враги. Разломать им мебель или, например, выкинуть посуду из окон – это было то, чего они заслуживают. Разумеется, все, что мы находили из питья и еды, сразу шло в дело.

У нас был старинный музыкальный ящик и два диска к нему. «Тихая ночь» и «Мы собрались вместе», гимн Дня благодарения. У меня было типичное лютеранское детство. И вот я опять услышал эти хоралы, которые много раз пел в церкви.

В тот период я ощущал что-то вроде шизофрении. Во-первых, я сам во всем участвовал и был не на шутку перепуган. Но в то же время, я прекрасно понимал, насколько театрально и ирреально все вокруг.

Через три дня мы снялись с места, переправились через Рейн и окружили немцев. После городских покалеченных зданий мы попали в деревни с цветущими садами. У реки палили на тот берег наши минометные установки. Я замечал вокруг какие-то призрачные фигуры. Были ли это лазутчики, кусты или просто игра моего воображения? И над всем этим хаосом возвышался вдали Кельнский собор.

До тех пор мы толком войну и не видели. Иногда самолеты сбрасывали бомбы на другом берегу. Мы высылали патрули, захватывали пленных. Но сами в бою до тех пор не были. В нас еще сохранялась жажда приключений. Когда грузовик вез нас от юга Кельна к Бонну, я думал: «О, это же город, где родился Бетховен!» Но когда мы переправлялись через понтонный мост, и я увидел огненный шар взрыва неподалеку, то понял, что ско-

ро уже начнется настоящая битва. Понял, что мы попадем под настоящий обстрел и некоторые из нас умрут. Но при этом я восторгался красотой природы – холмами, огромными лесами. Километр за километром. Я словно слышал музыку Вагнера. Меня раздирали две мысли: «Господи, только бы меня не убили!» и «Невероятно, какая прекрасная страна!»

У нас была все еще чистенькая форма. Юнцы, которые ничего не видели. Но мы встречали отряды, уже побывавшие на поле боя. Видели солдат в грязной форме, бородатых, и по их взглядам было ясно, что они прошли через многое. Они глядели на нас с выражением: мол, скоро вы все узнаете. С такой смесью жалости и снисхождения к нам, молокососам.

Нам попадались первые убитые, немцы. Напрашивался нехитрый вывод: раз тут убитые немцы, значит, дальше будут и убитые американцы. Настала ночь. Оставалось еще несколько километров до места будущего сражения. Мы миновали наши огневые позиции. Они стреляли без умолку. Конечно, подбадривало количество нашей артиллерии, однако вид убитых немцев тревожил. Я никогда раньше не видел мертвецов, разве что на похоронах.

Нам сказали, что утром мы пойдем в атаку. Помню, было жутко холодно. Я уже начал курить и все представлял себе, что скажет на это мама, когда я вернусь. (*Смеется.*) Я чувствовал слабость, страх, холод. И у меня даже не было при себе последней сигареты.

Нас разбудили перед рассветом. Странная вещь: была одна сцена, которая мне то ли приснилась, то ли была на самом деле. Я спрашивал после войны у приятелей: «Помните перед боем полевой госпиталь и военных врачей, которые распаковывали инструменты?». Я отчетливо помню эту картину, но никто больше ее как будто не видел. Хотя это, и правда, походило на сон: врачи готовились к перевязкам. А рядом стояли мы – здоровые, которым через час или два предстоял бой. Это только усиливало предчувствие, что на нас неотвратно надвигается что-то ужасное.

В нашем взводе было человек тридцать. Нам предстояло захватить небольшой городок, почти деревню. Я носил базуку. Никогда не забуду ощущение нереальности, когда мы шли по лесу к этой деревне, видневшейся в паре сотен метров. На лугу пасутся овцы. И вдруг – огонь: стреляют из пулеметов, ружей, минометов.

Терялось чувство ориентации. У нас была не цельная линия

фронта. А точечные акции. Взять город, переправиться через реку, взять другой город. Тот городок был нашим первым заданием. Я увидел, как на луг падают минометные мины. Немецкие, 88-ые. Они падали на черепичные крыши домов, на сараи. Моя первая реакция: они ничего не разрушат. Ну, пара черепиц обвалилось, но все равно – прекрасный солнечный день. Такой красивый луг. Старинный городок. Но это впечатление длилось не больше трех секунд. Овцы падали. Ты видишь кровь и сразу же думаешь: сейчас и нас разорвет в клочья как этих животных. Все это быстро проскакивает в твоём мозгу. И так, *(смеется)* занавес поднят, и ты по-настоящему в бою.

Тот городок мы взяли без потерь. По-моему, немецкие войска его уже оставили. Ко мне постепенно возвращалась уверенность. Что ж, мы заняли город и не увидели ни единого немца. Во второй половине дня мы двинулись дальше, на следующий город. Было ощущение, что не все в порядке. Кажется, мы потеряли связь с другими стрелковыми ротами. Наши офицеры что-то предчувствовали.

Неожиданно внизу на склоне холма мы заметили человек пятьдесят немецких солдат. Нас было несколько взводов, мы растянулись. Подобрались ползком, потом по команде вскочили и принялись стрелять. Мы застали немцев врасплох. Они быстро открыли ответный огонь, из ружей и пулеметов. Но нас было гораздо больше, человек двести сорок. Мы стреляли на ходу. На тренировках у нас такого не было. Мы буквально учились в бою. Я заметил, что кого-то из наших подстрелили. Все продолжалось несколько минут. Мы убили почти всех немцев. Может, кто-то и убежал, но мы их достали. Наших тоже поубивали. По иронии судьбы, первым убили сержанта нашего взвода.

Надо кое-что рассказать про нашу роту. Большинство рядовых были ребятами из колледжей. Их всех скопом собирали в пехотные дивизии. А сержанты в основном были из старослужащих. По большей части – люди деревенские, без образования, часто южане. Так что шли постоянные взаимные оскорбления между рядовыми и сержантами. И самым ненавистным был именно этот сержант. Помню, как во время маневров один 19-летний парень чуть не плакал от ненависти к этому тупому и гадкому сержанту. И говорил: «Как только начнется бой, я убью его. Это первое, что я сделаю». И кого первого убили? Этого самого сержанта. Но это точно был неприятельский огонь. Я готов поклясться. И уверен, что те ребята, которые грозились убить его,

сами перепугались, когда их желание исполнилось.

После боя мы ждали дальнейших приказов. Мой лучший друг стоял, прислонившись к дереву. Он криво ухмылялся. А я был в ужасе. Я не мог себе представить, что кто-нибудь из наших мог это сделать. Я абсолютно уверен, что это не наших рук дело. Можно хоть тысячу раз сказать: «Я убью его!» - и что с того? Первая смерть и сама по себе страшна, а вдобавок это был человек, которого все мы ненавидели.

У нас была типичная рота. Определенный процент самострельных ранений. Разумеется, кое-то был готов отстрелить себе палец на ноге, чтоб выбраться из боя. Порой люди терялись. В сражении не мудрено было потерять ориентир, уйти в неправильном направлении. Говоришь потом, что ты заблудился, заболел, был ранен. А пока добираться до своих, проходит пара дней.

Известны примеры типа Каспара Милкстога из комиксов, когда обычные люди демонстрируют недюжинный героизм. Но надо признать, что в общей массе – впрочем, как и в обычной мирной жизни – есть и трусы, и слабаки. Наш радист расстрелял свое радио, решив как-то, что нас сейчас захватят в плен. Это паника. Я получил базуку, потому что наш стрелок из базыки просто-напросто бросил свое оружие, и я его подобрал. А он сбежал.

Капитан сказал: «Надо забрать тела. Мы не оставим врагу наших павших». Мы оказались отрезаны и должны были добираться до остального батальона. Пришлось мастерить носилки. Я снял полевую куртку и вывернул рукава наизнанку. Мы вставили в рукава наши ружья, и получилось подобие носилок. Положили на них сержанта, господи, ему снесло полголова, и мозги вываливались мне на руки и на форму. И это – я, маменькин сынок, ученик воскресной школы.

Помню ту ночь в окопе. Это был кошмар. Я узнал тогда, как выглядят мертвецы, и какого цвета их лица. Думаю, каждый парень из нашего взвода пережил такой же кошмар. Расцвело, и мы направились к другому городу. Это двадцать четыре часа моего жизненного опыта.

Те, кому выпало участвовать по-настоящему в суровых сражениях, в Нормандской высадке, посмеялись бы, конечно, над нашей мелкой операцией, но для меня... Мы шли мимо солдат, которые сменяли нас на позиции. Мы пережили сутки войны. Теперь у нас были грязные и окровавленные формы, а по нашим

лицам казалось, что мы были в бою несколько недель. Теперь в наших глазах было написано: эх, вы, невинные овечки!

Мы не смогли забрать тела. Минометный огонь усилился. На следующее утро нашему взводу было поручено вернуться за телами. Это было солнечное тихое утро. Мы проходили мимо убитых нами немцев. Когда смотришь на каждого убитого в отдельности, это сильно действует. Это больше не абстрактный враг. Не те немцы в касках с тупым выражением на лицах, каких видишь в кинохронике. Они наши ровестники. Такие же мальчишки как мы.

Мне особенно запомнился один. Рыжий. До сих пор я помню этого молодого немецкого солдата, сидящего у дерева. Наверно, они отдыхали во время отступления. Стрельбы можно было избежать, если мы были бы опытнее и по-немецки призвали бы их сдаться. Может, они с радостью сдались бы. Но вместо этого случилась бессмысленная бойня, исключительно из страха. Это ведь смахивает на убийство, не так ли?

Больше всего в тот день мне запомнились не двое наших убитых, но осознание тех жестких условий, в которые ты поставлен. В ту пору мы ненавидели немцев не только потому, что Германия была символом зла и милитаризма, но просто ненавидели каждого немца. Однако если снять шлем, видишь такого же подростка как ты сам. И все-таки надо продолжать. И впереди еще много-много сражений.

Через несколько дней мы вошли в Люденшайд. Это недалеко от района Рурской операции. Две союзнические армии перешли Рейн в 25 км друг от друга. Они захватили в клещи 350 000 немцев под командованием, по-моему, генерал-фельдмаршала Моделя. Разумеется, немцы не сдались за одну ночь. Они сражались. Нашей задачей в Германии было перемещаться как можно быстрее, на грузовиках, на танках, пока не встретим сопротивления. Некоторые города сдавались без боя. Другие упорно оборонялись. Но всегда ждешь худшего.

Мы всегда находились у линии фронта и шли вперед. Когда проходишь через позиции своей артиллерии, значит, уже близко. Вскоре местность пустеет. Всего час назад вокруг было полно наших. Но приближаешься к месту операции – и остается вначале лишь твой взвод, а потом – всего два отделения. И вот уже ты – передовой человек в отделении.

Мне казалось это чем-то невероятным. У нас же такая огромная армия – войска, грузовики, танки, группы огневой под-

держки. И вдруг ты оказываешься совсем одинок. (*Смеется.*) Зато – во главе всего.

Около Люденшайда мы засели на холмах и наблюдали сверху. В городе царила мертвая тишина, лишь завывали сирены немецких машин скорой помощи с большими красными крестами на крышах. Кто знает, может, это была хитрость? Город казался таинственным. Вдруг раздался колокольный звон. Что это значило? Начало большого сражения? Или они покидали город? В конечном итоге, Люденшайд почти не сопротивлялся, и мы взяли его довольно быстро.

В то время я начал подозревать, что в Европе творится еще что-то ужасное, помимо войны. Мы хорошо знали, что немцы угоняли людей из Польши, из Франции, из всех захваченных стран для принудительной работы на немецких заводах и фермах. И в каждом взятом городе мы освобождали славян, французов, людей разных национальностей. Это были очень волнующие моменты. Но тогда до нас еще не дошли рассказы о концлагерях. Сейчас, задним числом, меня это очень удивляет. В Люденшайде наш взвод ночевал в просторном помещении, что-то среднее между театром и банкетным залом, со сценой и большой танцплощадкой. В центре на полу возвышалась гора одежды. Теперь я понимаю, что это была, вероятно, одежда людей, отправленных в Дахау или другой концлагерь. Но тогда мы совершенно не задумывались, что это может быть. Хотя и было понятно, что одежду собирала не Армия Спасения. Мне вообще это запомнилось потому, что в тот день умер Рузвельт.

Пленных рабочих мы встречали в каждом городе. Их могло быть от десятка до нескольких сотен, в зависимости от промышленности. Последним мы взяли город Летмате около Изерлона. Там на заводе работало множество итальянцев. И несколько русских. Военное правительство еще не прибыло. Помню, как русские хватили лошадей и гоняли их по улице туда-сюда для стимуляции кровообращения, а потом убивали, чтобы съесть. Один русский пытался забить лошадь топором. Я не мог сам застрелить лошадь, но разрешил ему воспользоваться моим пистолетом. Мы понимали, что эти люди в отчаянии от голода.

Случались и стихийные восстания, когда угнанные рабочие и военнопленные пытались захватить власть в городе. Это был хаос.

Однажды я застал сцену, как в подвале нашего здания русский душил немца. Это было для меня моментом истины. Во мне

жило убеждение, что всякий немец – это зло, а русские – наши союзники. Кое-как я понял, что русский хочет отомстить. Он кричал, что этот немец убил его друга. В такой ситуации трудно решить, правда ли это. Я не стал долго раздумывать. Русский расплакался, когда я оттащил его от немца. Он рыдал навзрыд из-за того, что не смог его убить. Размышляя позже, я решил, что все-таки он говорил правду. Но все равно, я не мог допустить убийства.

Разумеется, мы понимали, что русские понесли огромные потери на восточном фронте, и они действительно сломали хребет немецкой армии. Если бы не они, у нас были бы гораздо более тяжелые потери и поражения. Мы испытывали к ним добрые чувства. Я, помню, говорил, что когда наши армии встретятся, я расцелую их.

Я не слышал антирусских разговоров. Думаю, все мы отлично понимали, что если придется с ними воевать, то мы займем второе место. На тот момент мы еще не знали про атомную бомбу. Но мы представляли себе, что у них огромные армии, и они готовы пожертвовать миллионами солдат. Мы ж чувствовали, что наше командование щадило наши жизни. Пусть даже пехоте и выпадала грязная работа, но все равно вначале врага массировано обстреливали и артиллерией, и танками, чтобы обессилить, и лишь потом посылать пехоту. Если это было возможно.

Я размышлял, почему люди моего возраста и с похожим опытом не хотели сразу поддерживать замораживание ядерного оружия. Вспоминаешь готовность немцев пожертвовать миллионами своих людей. И у них действительно были огромные потери. В каждом немецком доме, куда мы заходили, мы видели фотографию сына или родственника в траурной рамке. Понятно, что в основном они погибли на восточном фронте. Да и русские потеряли двадцать миллионов.

Позже, уже опять в Америке, нас переобучали для вторжения в Японию. Потом сбросили первую атомную бомбу. А мы были уже на середине Тихого океана. Сколько бы нас погибло в Японии, не будь этих бомб? Это мой взгляд, я ощущал эту угрозу.

В последней кампании, в Баварии, мы были под командованием Паттона. Он говорил, что надо двигаться дальше. Мне это казалось невыносимым. Русские уничтожат нас, потому что они готовы пожертвовать любым количеством жизней. Я не думаю, что нашим солдатам было по силам воевать с русскими. По газе-

там и кинохронике мы все знали про Сталинград. И я видел свидетельства в любом немецком доме. Черная рамка, восточный фронт, девять из десяти.

Сегодня я гораздо хуже отношусь к коммунизму, чем раньше. Я считаю, наше правительство старалось тогда показать Сталина в образе такого доброго дядюшки Джо. Арктические конвои. У нас были смешанные чувства: как же хорошо, что они сделали львиную часть работы, что на их долю выпали огромные потери, что они переломили немецкую армию. Да и вообще, не могут они все поголовно быть такими уж плохими. Как бы то ни было, воевать с ними мы не хотели. (*Смеется.*)

Я стал против войны во Вьетнаме, когда увидел в 1968 году один из номеров журнала «Life». Там были фотографии нескольких сотен людей, погибших за неделю во Вьетнаме. И я решил: Хватит, я не собираюсь от имени ветерана Второй мировой войны хвалить нашу позицию. Мы ничем не лучше всех других, если не в состоянии независимо думать и принимать решения. Мы продвигались, пока победа казалась легкой. Но когда все обернулось не так просто, мы начали думать.

Вторая мировая война была совершенно иной. Она повлияла на меня во многих смыслах, и я это ощущаю до сих пор. Я стал более осторожно судить о людях. Не делаю скоропалительных выводов из-за внешнего вида или поведения человека. За короткий отрезок времени я испытал самое серьезное потрясение всей моей жизни, самые сильные чувства: страх, ликование, поражение, надежда, братство, нескончаемое волнение и ощущение ирреальности. Я искренне благодарен судьбе, что был свидетелем столь монументального исторического события. Свидетелем и даже, в очень мелкой роли – участником.ⁱ

i Book I. 1.2. A chance encounter. Robert Rasmus. Пер А. Чередниченко.

Джон ЭББОТТ

Хотя у него длинная седая борода и горящие глаза Старого Морехода, на его лице нет морщин. Оно неуместно юное. Представьте себе жизнерадостного Джона Брауна.

Маленький домик в Каного Парк, штат Калифорния.

Мы были готовы к войне. У нас была долгая депрессия. Людям нужны были перемены, а война обещала все изменить. К черту очереди за хлебом. Построим еще один мирный бомбардировщик. Они просто поменяли лозунги. (*Смеется.*) Это была самая популярная война из всех, что у нас были. Люди пели, танцевали, пили – ура, война!

Я родился в 1918-м, так что я подлежал призыву. Я долго раздумывал, как мне вести себя с людьми, когда наступит война. Или если меня призовут.

Это началось давно, с тех пор, как я в лесу однажды сбил птицу с ветки из ружья моего брата, и от этого так заболел, что не мог спать. Это было в Скарборо, штат Нью-Йорк.

Я пошел в библиотеку отца моего друга – он был врачом – и взял почитать кое-какие медицинские книжки. В одной из них постранично демонстрировалось постепенное превращение из гамбургера в человека. Это был солдат Первой мировой, изувеченный. Как его по частям собирали обратно. Я подумал: что этот человек с собой сделал? Ради чего? Почему я должен иметь к этому отношение? Я тогда был во втором классе. Я никогда не слышал о пацифистах или квакерах. Я даже не знал, что такое С.О. («сознательный отказник»). (*Смеется.*)

Когда началась война, я был на втором курсе Института Пратта в Бруклине. Все мои однокурсники подлежали призыву. Нам раздали анкеты, как будто это были просто контрольные. Я был потрясен. Вторая анкета была для «сознательных отказников». Вы верите в Высшую Силу? Вы верите в Бога? Если ты не верил, ты попал. (*Смеется.*) Тебе было не видать квалификации «сознательного отказника».

Я не принимал решения стать С.О. Так решила призывная комиссия. Я всего лишь написал в анкете, что не собираюсь подчиняться всеобщей мобилизации. Я не хотел иметь с этим ничего общего. Хотя я всего год ходил в пресвитерианскую вос-

кресную школу, я считал, что этого достаточно. Моя вера была как у всех, разве что я молился в лесу. Ни в какую церковь я не ходил. В любом случае, какое их собачье дело, во что я верю?

Призывная комиссия отлично знала, что я за человек и что я думаю еще до того, как я к ним попал. Они со мной возиться не собирались. (*Смеется.*) Они дали мне 4-Е: классификацию сознательного отказника.

У них был приказ отправить меня в лагерь. Я не закончил обучение. Это было противозаконно. Я сказал, что не буду подчиняться их приказам. Я пошел к окружному прокурору и рассказал ему все. Он предложил мне поехать к квакерам в Филадельфию, чтобы они мне показали, как выглядят эти лагеря. Я съездил. Во время Второй мировой братья, меннониты и квакеры договорились с властями, что устроят эту лагерную систему.

Еще он спросил меня, не хочу ли я сходить к психиатру. Я сходил. Это был психиатр от Системы воинской повинности. Он предложил по выходным ходить к нему домой. Когда я понял, что он мне предлагает, я крайне разозлился. (*Смеется.*) Мне никогда до этого не делали (таких) предложений. (*Смеется.*) Он попытался устроить мне 4F – классификацию гомосексуалиста. Тем, кто соглашался ходить к нему по выходным, он обещал 4F.

Мне было приказано отправляться в лагерь. Я был в двух лагерях. Один в Кэмптоне, штат Нью-Гэмпшир, а второй в Чилайе, в Калифорнии. Перевели меня не по моей воле. (*Смеется.*) Наша работа была убирать сосновые иголки с дорог на территории лагеря, чтобы люди, у которых был бензин, несмотря на ограничения, могли приезжать в гости и получать удовольствие. Мы чинили сортиры, делали дорожки, что-то ремонтировали. Помогали при тушении пожаров.

Меня очень скоро сняли с работ, потому что я вел подрывную деятельность. Я со всеми разговаривал, убеждая их бросить работу и уйти из лагеря. Я считал, что нахождение в этих лагерях тоже помогает войне. С моей точки зрения все, что делалось для Системы воинской повинности, которая поставляет пушечное мясо, помогало войне.

Работа, которую мы выполняли в лагерях, считалась «национального значения». Мы называли ее работой национального дробления. На ветровое стекло тогда лепили наклейки, призывающие экономить бензин, со словами: Вам действительно нужна эта поездка? Мы соскребали слово «поездка» и писали

«война»: Вам действительно нужна эта война?

Когда меня переводили с востока на запад, поездка через всю страну была совершенно волшебная. Добропорядочные дамы стояли на станциях со сладостями, едой и журналами. Они встречали составы с новобранцами. Они дарили подарки мужчинам, которые уезжали на фронт, служить отечеству. В нашем поезде в двух вагонах ехали в Сан-Диего призывники-десантники, которым еще не выдали форму. А еще один вагон был набит сознательными отказниками, тоже без формы. Когда мы высypали на пути, дамы не разобрали, кто есть кто. Так что нам досталось много этого добра.

Когда пошел слух, что в поезде едут *«желтобрюхие»*, дамы стали хватать нас за руки со словами: «Ты что, один из чертовых желтобрюхов? Отдавай мое печенье.» Верни мое яблоко. Верни мою «Жизнь», ты, желтобрюхий. (*Смеется.*) Они были в полном бешенстве.

Что с тобой не так, ты, желтая сволочь? Нас звали «желтыми». А как я ездил автостопом, когда отпускали в увольнение! Сяду в машину, и водитель начинает интересоваться: «А чего это ты не в форме?» Я говорю: «Я сознательный отказник.» Он говорит: «Кто ты, желтая ты сволочь?» Жмет на тормоз, распахивает дверь. «Пошел на хрен отсюда.»

Пойдешь в бар, возьмешь пива. Там все эти парни в форме. И почти сразу: «Эй, что с тобой такое? Где твоя форма?» Я не видел смысла скрывать, кто я. Когда я говорил им, что я сознательный отказник, они хотели или побить меня, или прогнать.

Вы когда-нибудь подвергались физическому насилию?

О да, много раз.

Я никогда не требовал признать меня сознательным отказником. Это они мне дали такую классификацию, 4Е. (*Смеется.*) Я никогда не считал себя кем-нибудь. Я не считал себя даже пацифистом. Но когда тебя спрашивали, было легче объясниться при помощи этих слов.

У нас были старинные друзья, почти члены семьи. Они приходили к нам на День Благодарения, на Рождество и дни рожденья. Они были всегда рядом, мы росли с их детьми. Когда стало известно, что я сознательный отказник, эти друзья сказали мне: «Не звони нам. Не приходи. Не трогай мою дочь или моего сына. Мы больше не хотим тебя знать.» Они не хотели заразиться. Как будто у меня была какая-то ужасная болезнь, и

даже знакомство со мною связывало их с этой заразой. Это как быть евреем в Германии. Или японцем на Западном побережье Соединенных Штатов. (*Смеется.*)

Моя мать не понимала, что я делаю и почему. Когда я пришел домой с заседания призывной комиссии и сказал ей, что не собираюсь подчиняться их требованиям, она спросила: «Кто научил тебя так говорить?» Поскольку всю жизнь я был против формализованной веры, отказался ходить в воскресную школу, и ненавидел начетчиков, я ответил: «Бог научил меня так говорить.» Это так на нее подействовало, что она три дня пролежала в постели.

С отцом было иначе. Дело в том, что в его обязанности входило содействовать американскому правительству в отправке помощи в Европу для снабжения этой войны.

Он был консультантом в Вашингтоне. Как человек я был ему симпатичен, но то, что я делаю – нет. Он сказал мне: «Джон, ты бьешься головой о каменную стену. Это ни к чему хорошему не приведет. Я не буду пытаться тебя переубедить. Я хочу, чтобы ты знал: если я чем-то могу тебе помочь, я это сделаю.» Это было лучшее, что я от кого-либо слышал. Он делал, что мог. Он общался с тюрьмами, с надзирателями, с кем угодно.

Когда я вышел из лагеря, попал в тюрьму и вернулся домой по условно-досрочному освобождению, мы с отцом пошли после ужина прогуляться, как мы часто делали. Я сказал: «Папа, я понимаю, как это было больно: признаться друзьям, что твой сын – сознательный отказник, который сидит в тюрьме. Должно быть, это настоящее пятно на нашем честном имени. Прости.» Он повернулся ко мне и сказал: «Не нужно извиняться. Если бы ты знал, что сделали твои предки, ты бы очень удивился.» И тогда, впервые в жизни, я узнал, что мой прапрадедушка, живя на Юге, на равных общался с неграми.

Мой старший брат изо всех сил старался попасть в армию. Он испробовал все способы. Его не брали, потому что он был слишком маленького роста и слишком мало весил. Он был большой энтузиаст. Пока я сидел в одиночке в исправительном учреждении, мой брат писал мне из Лос-Аламоса. Он работал над устройством, которое сократит войну и спасет жизни людей. Через некоторое время я узнал о взрывах в Нагасаки и Хиросиме. Вот над чем работал мой брат, чтобы сократить войну и спасти жизни. (*Смеется.*)

Моя сестра вышла замуж за военного, который был еще и

теннисистом с национальными наградами. Его служба в армии прошла за игрой в теннис по всему Тихому океану. Сестра не одобряла мою позицию. Она считала меня сумасшедшим.

Мать моего друга, жившая неподалеку от нас, мне симпатизировала. Она мечтала, чтобы все ее четыре сына стали сознательными отказниками. Но они не стали. (*Смеется.*) У меня был еще один друг, художник. Ему не нравилось слово «отказник». Мне тоже. Он объяснил мне, что защищать свои права означает делать что-то позитивное. И я старался вытащить всех и каждого из системы воинской повинности.

Квакеры мне симпатизировали, но они должны были держаться определенной линии. У членов религиозных сект свои требования, которым тоже нужно соответствовать. Я создавал проблемы с первого дня, как туда попал.

Я вышел из лагеря и отправился в Мемориальную больницу Хантингтона в Пасадене. Подал заявление о приеме на работу. Во время войны больницы остались без помощи. Все мужчины отправились сражаться и убивать. Женщины зарабатывали больше, чем когда-либо, подавшись в Розы-Клепальщицы. И я пошел в больницу, понимая, что это место, где пытаются помочь людям. Им был нужен садовник.

Я сказал даме, что ушел из лагеря для сознательных отказников и в конечном счете буду за это арестован. Она сказала: «Кто дал вам право?» Я ответил: «Я сам.» «А кто может подтвердить, что я могу вас нанять?» Я сказал: «Позвоните в ФБР, если хотите.»

Она позвонила, и в ФБР ей сказали, что я не в их юрисдикции, пока из Вашингтона не поступит рапорт. Это могло занять несколько месяцев. Они не возражали, чтобы она меня наняла. Так она получила благословение своего Бога. (*Смеется.*)

Я сходил в ФБР и сообщил, где я буду. Мне давали комнату и стол в больнице. (*Смеется.*) Я был готов прийти и сдатьсь в любое время, когда понадобится. Они сказали: «Об этом не беспокойтесь.» Потом я понял, что им доплачивают за то, что они сами приходят и забирают.

Однажды, когда я обедал в больнице – у меня в кармане был такой металлический нож для садовых работ – они подошли сзади, по одному с каждой стороны (*смеется*): «Вы должны пройти с нами.» Я встал, а из кармана у меня торчит нож. «Положите нож на стол.» (*Смеется.*) Они сказали: «Это крайне серьезно.» Я сказал: «Не думаю.» И меня увезли в окружную

тюрьму в Лос-Анджелесе. Зарегистрировали, классифицировали, отобрали все вещи. Когда меня перевозили из окружной тюрьмы в суд, я был в наручниках, с цепями на ногах. Это было очень унижительно. Я чувствовал себя каким-то преступником. Все, что я сделал – говорил, что отказываюсь убивать людей. Эй, все вокруг хотят убивать, а я отказываюсь.

Сначала я не признал себя виновным. Потом заявил, что не буду спорить с обвинением. Я не собирался подчиняться в любом случае. Судья приговорил меня к двум годам федеральной тюрьмы в Таксоне, штат Аризона.

В поезде я поговорил с другими заключенными. Среди них было несколько сознательных отказников, но в основном – кто ограбил машину, кто вломился в дом, кто украл деньги. Два С.О. хотели узнать, как так получилось, что я ушел из лагеря. Я сказал, что не хотел подчиняться системе воинской повинности ни в каком виде. Я сказал им, что если мы подчиняемся тюремной системе, которая является орудием принуждения, мы все равно подчиняемся. Судья приговорил меня к сроку. Он не говорил мне, что я должен кому-то подчиняться. Он не говорил, что я должен работать. И мы договорились в поезде, что работать не будем.

Мы объединились с большинством заключенных. Там было несколько американских индейцев, которые отказались участвовать в войне белого человека. Мы объявили забастовку. Мы проводили свой срок за использованием пишущих машинок, офисного оборудования и бумаги, строча меморандумы. Мы рассылали их друзьям, окружным прокурорам, генеральным прокурорам, начальникам тюрем. (*Смеется.*)

Как реагировали власти?

Никак. Первые пару дней. Наконец, около двух часов ночи они забрали троих из нас, надели наручники, посадили на заднее сидение седана и повезли в Ла-Туну, штат Техас. Это чуть выше Эль-Пасо. Нас встретил начальник техасской тюрьмы. Нас перед ним поставили. Над нами нависли его держиморды. В ковбойских сапогах, с огромной сигарой, торчащей изо рта, он нам сообщил, что его сын дерется с япошками, и если хоть один волос его сына пострадает от этих желтобрюхих япошек, он проследит, чтобы мы за это ответили. Он хотел знать прямо там и тогда: будем ли мы подчиняться и сидеть тихо, или ему придется звать своих ребят, чтобы они нас обработали? Каждый из нас, друг за другом,

сказал, что мы не собираемся подчиняться ни одному его требованию. И мы начали менять жизнь в этой тюрьме.

Нас сегрегировали. Мы не содержались в корпусе с другими заключенными. Мы должны были есть свою пайку в другом конце столовой. Когда нас выводили на прогулку, других заключенных во дворе не было. Когда нам удавалось попасть в библиотеку, больше там не было никого.

Они понимали, какой яд мы распространяем. Меня отправили в Эль-Рено, исправительную колонию в Оклахоме. Я тайно вынес письмо и оставил его на сидении на станции, где я в наручниках ждал поезда.

Начальнику в Эль-Рено я сказал сразу же по приезде: «Если вы заинтересованы в том, чтобы исправить, перевоспитать или изменить меня, вы должны мне объяснить, почему тут у вас сидят ребята, которых осудили за убийство, а я сижу вместе с ними за то, что отказался убивать людей.»

Что он ответил?

Ничего.

Большую часть времени я провел в одиночке. Меня спрашивали: «Что ты хочешь делать в тюрьме?» Я отвечал: «Я бы хотел написать книгу о тюремной жизни.» «У нас нет таких работ. Ты можешь работать в прачечной, на кухне или в поле.» Я не собирался нигде работать.

Пока я был в одиночке, работника тюрьмы, отвечавшего за картотеку военнообязанных, призвали в армию. Им нужен был кто-то на это место. Начальник сказал: «Ты единственный, кому я могу доверять.» Потому что если ты знаешь всю правду о своих сокамерниках – а это то, что было в картотеке – ты самый могущественный человек в этой тюрьме. Я сказал: «Нет, так я буду работать не только на вас, но и на систему воинской повинности.» Он сказал: «Мне не нужно, чтобы ты что-то делал. Просто сиди там.» Я сказал: «Хорошо.» И я просто там сидел. Это был единственный случай, когда я подчинился тюремной системе.

Я на деле узнал, что такое день за днем сидеть в четырех стенах: кровать, туалет, раковина, маленький столик, постоянно включенная сорокаваттная лампочка. Замалеванные окна. Я прикасался к ним, чтобы почувствовать, какая погода. Я мог встать на кровать и разговаривать через воздуховод с заключенными в других камерах. Я танцевал. Я пел. Я занимался йогой.

Я прятался под кровать, когда надзиратели подходили к

двери и заглядывали в глазок. Когда они не могли найти меня, они входили, озирались – удрал! (*Смеется.*) Это их по-настоящему пугало. Когда они открывали дверь, я выходил. Я ходил по тюрьме и навещал некоторых заключенных, которых раньше не видел. Надзиратель свистел в свисток, появлялись еще двое-трое и оттаскивали меня обратно в камеру. Так они делали не особенно часто.

Я был в трех разных федеральных тюрьмах, и везде создавал проблемы. Когда меня везли на станцию, они сказали мне: «Не возвращайся. Не хотим тебя больше видеть.»

Я был освобожден условно-досрочно и отправлен на работу в Нью-Йоркскую больницу. Ответственный за меня сотрудник требовал, чтобы я ходил к нему отмечаться. Я пару месяцев этого не делал. Наконец, я сказал: «Я приду к вам еще один раз, и все.» Он сказал мне: «Вот список правил. Вы нарушали какие-нибудь из них?» Я ответил: «Да. Я нарушал все правила, которым не хотел подчиняться.» Он сказал: «Мы пошлем вас обратно в тюрьму.» Я сказал: «Лучше напишите им и спросите, прежде чем угрожать мне. Я не думаю, что они хотят, чтобы я вернулся.» И я сказал ему, что не собираюсь больше с ним видеться.

Что случилось потом?

Ничего.

Когда война кончилась, я осознал, что лишился гражданских прав, потому что был осужден за это тяжкое преступление. Я хотел голосовать. Я хотел иметь право быть присяжным. Я пошел в ACLU (Американский Союз защиты гражданских свобод) и подал два иска. Оба они рассматривались Верховным Судом, и по ним были приняты беспрецедентные решения. Мы отсудили право голосовать для осужденных в прошлом за тяжкие преступления. Ко мне то и дело подходит какой-нибудь юный студент-юрист со словами: «Удивительно разговаривать с человеком, о котором читаешь в учебнике!»

Армия и тюрьма имеют дела с цифрами, а не с именами. В тюрьме меня обычно вызывали по номеру, а я не отвечал. Я говорил: «У меня есть имя. Когда вы назовете меня по имени, я отвечу.» Я провел большую часть времени в одиночке. (*Смеется.*) Меня не слишком-то часто вызывали.

Все тюрьмы одинаковы. Все войны одинаковы. На войне обе стороны пытаются убить друг друга за «принцип». И принцип «не убий» теряется при перетасовке.

Как насчет Гитлера?

Как насчет Гитлера? Это был один человек. Они все делали то, что говорил Гитлер. Что делают все заключенные? То, что говорит начальник. У Гитлера была только та власть, которую ему дали люди. У меня было чувство, что весь мир полностью сошел с ума, рехнулся. Люди были влюблены в войну.

После Войны во Вьетнаме люди стали гораздо лучше относиться к неподчинению. Они стали мягче. Во Вьетнаме они своими глазами увидели, что такое война, они мирились с ней десять лет, и им это осточертело. Она не имела смысла. А по мне никакая война не имела смысла – ни Первая Мировая, ни Вторая, ни любая другая.ⁱ

ⁱ 1.7. Reflections on machismo// John H. Abbott. Пер. Е. Лавут.

Джон Кеннет ГЭЛБРАЙТ

Экономист, автор мемуаров, бывший посол в Индии

Великий принцип американской военной стратегии гласит: у нас есть самолеты, значит они должны быть эффективны.

Где-то в 1944 году Рузвельт пришел к выводу, что в оценке эффективности нашей авиации имеется большая доля преувеличения и чистой фантазии. Так что он пошел навстречу ряду предложений по созданию независимой гражданской комиссии, которая сопровождала бы наши войска, продвигающиеся во Францию и Германию, и выясняла бы, что на деле удалось достичь бомбардировками.

Весной 1945 года Джордж Болл и Пол Нитце подключили меня к этому делу. Мы втроем и составили ядро этой комиссии, работавшей под начальством Генри Алекзандера, пришедшего из J.P. Morgan and Company. В нашей работе был тот большой плюс, что мы делали свое дело далеко за пределами досягаемости вражеских пушек. За исключением некоторых генералов, очень немногие люди на войне пользуются таким бонусом.

Результаты наших разысканий были однозначны. Бомбардировки Германии, как британскими силами, так и нашими, оказались значительно менее эффективными, чем то считалось ранее. Несмотря на мощнейшие авианалеты, немецкая оружейная промышленность продолжала увеличивать свою производительность вплоть до осени 1944 года. Некоторые из наиболее широко разрекламированных налетов, включая налеты на немецкие шарикоподшипниковые заводы, на месяцы заземлили 8-ю авиаармию (Eighth Air Force) – настолько тяжелы были ее потери. А в конце войны немцы снова были готовы экспортировать шарикоподшипники. Наши налеты на их аэрокаркасные заводы были полным провалом. Уже через несколько месяцев после больших весенних рейдов 1944 года они намного повысили свою производительность.

Причины этого были тройственны. Во-первых, сами станки были относительно неуязвимы. Их можно было похоронить под руинами, но через день-два их снова выкапывали. Во-вторых, само производство можно было децентрализовать: перевезти оборудование в школы и церкви. И оно было реорганизова-

но в гораздо более сжатые сроки, чем то предполагали. Немцы обнаружили, что нет никакой необходимости объединять все производство на одной-единственной фабрике. Они также обнаружили заменимость многих деталей. Так, оказалось возможным переконструировать многие виды оборудования, уменьшив использование шарикоподшипников. В-третьих, оказалось возможным реорганизовать менеджерские структуры – довольно хаотичные и менее чем исполнительные.

Наиболее разочаровывающими были результаты налетов на авиазаводы. Производство отобрали у ведомства Германа Геринга, чья некомпетентность была необъятна, и препоручили министерству Шпеера, много лучше разбиравшегося в делах. Эти перемены более чем покрыли ущерб, нанесенный нашими бомбардировщиками.

Нечто подобное было и с бомбардировкой Гамбурга. Был уничтожен центр города и большое количество людей – ресторанные служащие, артисты кабаре, учителя, торговцы – лишились прежних занятий. Все они стали доступны в качестве рабочей силы для задействования на военных заводах на окраине города.

Было две различные стратегии бомбардировок. Британцы бомбили по ночам, совершая налеты на центральные города, потому что только их они и могли найти. Естественно, наибольшие разрушения приходились на районы проживания рабочего класса. Проживавшему в предместьях среднему классу урона почти не наносилось. Это была общая ситуация при бомбардировках большинства городов, как их, так и наших. Повсюду бедняки жили в центре, а преуспевающие – на окраинах. В Лондоне наибольшие разрушения от бомбардировок люфтваффе пришлось на Ист-Энд. Или взять Ковентри – город рабочего класса. То же самое верно и для немецких городов.

Американская стратегия бомбардировок предполагала дневные налеты. Мы выцеливали сами заводы. Проблемой было наведение. Большой частью мы не могли в них попасть. В 1945 году даже была в ходу такая шутка: Мы осуществили масштабное нападение на немецкое сельское хозяйство.

Я не хочу преувеличивать. Некоторые большие заводы были разбомблены. Один завод в центральной Германии, производивший синтетическое топливо, разбомбили даже несколько раз. Бомбежки немецких нефтяных запасов значительным образом сказались на мобильности их сухопутных войск. Но они

были успешными лишь потому, что то был огромный завод, занимавший многие гектары площади. И мы раз за разом бомбили и бомбили его. Немцы задействовали несколько сотен тысяч людей, которые постоянно трудились над его восстановлением.

Для других народов война закончилась к лету 1945. Для нас она продолжалась вплоть до осени, и главную роль в ней играли ВВС. Естественно, их руководство испытывало мало энтузиазма относительно итогов нашего исследования, когда они были представлены. Первичной их реакцией была попытка отрицать наши данные, затем – предать их забвению.

Общим заключением нашего исследования была констатация того, что война выигрывалась настойчивым продвижением сухопутных войск через Францию и Германию с существенной поддержкой со стороны тактической авиации, прикрывавшей актуальное движение сухопутных войск. Это было своего рода расширенная форма артиллерийской поддержки. Стратегические бомбардировки должны были уничтожить промышленную базу врага и подорвать мораль его народа. Ни та, ни другая задача не была ими достигнута.

Нужно ли добавлять, что в то время это наше заключение было не очень-то популярным?

А что насчет бомбардировок Токио зажигательными бомбами?

В целом мы пришли к тому выводу, что японская промышленность не обладает тем же восстановительным потенциалом, что немецкая. Если разбомбить японские военные заводы, то производство на них, скорее всего, так и не восстановится. Следует помнить, что в 1941-45 гг. Япония была очень маленькой страной, с равно небольшой промышленной базой. Концентрация производственных мощностей была очень плотной, а восстановительная способность значительно уступала немецкой.

Однако бомбардировка японских городов зажигательными бомбами не была решающим фактором в войне. Война в Азии была выиграна упорным медленным продвижением с юга на север и через Тихий океан.

Никакая война не является необходимой, любая из них жестока. Бомбардировки сделали эту войну особо жестокой. Уничтожение Дрездена непростительно. Оно произошло на очень позднем этапе войны, став следствием ее неконтролируемой динамики, и не отвечало никаким военным нуждам.

Разве атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не сократили войну в Тихоокеанском регионе?

Не эти бомбардировки положили конец войне. Этот момент был тщательно изучен нашей экспертной комиссией. Ее работу в Японии возглавлял Пол Нитцеⁱ, так что вряд ли эта оценка является пристрастной. Забавно, что позднее он оказался столь захвачен всей этой культурой уничтожения. Вывод исследования под названием «Борьба Японии за окончание войны»ⁱⁱ гласил, что возможная разница по времени была не более двух-трех недель. Решение выйти из войны, добиваться мирных переговоров было уже принято.

Японское правительство в то время было чрезвычайно бюрократическим. Чтобы перевести решение в действие требовалось некоторое время. Кроме того, существовали опасения, что какие-то из армейских подразделений могут уйти в своего рода камикадзе-сопротивление. В Вашингтоне об этом решении не знали. Покуда бомба не положила конец войне, нельзя было сказать, что Вашингтон отдал приказ о бомбардировке, зная, что война идет к концу.

Если бы не атомная бомбардировка, разве планируемая высадка ни стоила бы миллионов жизней, американских и японских?

Это не верно. При любых обстоятельствах через несколько дней или недель последовали бы переговоры о капитуляции. Уже перед атомной бомбардировкой Япония была сокрушена. Они это сами понимали.

Опыт работы в комиссии значительно повлиял на мои установки. Надо было увидеть немецкие города в 1945 году, город за городом, а потом видеть тот ужас и разрушение на месте японских городов, чтобы осознать, насколько страшной вещью может быть современная авиационная война. В наземных боевых действиях нет ничего приятного: на Первой Мировой вой-

i Paul Henry Nitze (1907–2004) был высокопоставленным чиновником в правительстве США, участвовавший в разработке американской оборонной политики в годы Холодной войны для ряда президентских администраций. Вице-президент U.S. Strategic Bombing Survey (1944-1946), заместитель Секретаря обороны в 1967-1969 гг.; главный представитель президента Рейгана на переговорах по Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (1981-1984). Автор мемуаров, в том числе: «From Hiroshima to Glasnost: At the Center of Decision» (Grove/Atlantic, Inc., 1989)

ii Japan's Struggle to End the War (The United States Strategic Bombing Survey, Chairman's Office. 1 July 1946). (см.: <http://www.ibiblio.org/hyperwar/AAF/USSBS/JapansStruggle/index.html>). См. также скан оригинального доклада: United States Strategic Bombing Survey: Japan's Struggle to End the War, July 1, 1946. Harry S. Truman Administration, Elsey Papers. (<http://www.trumanlibrary.org>)

не только в первый день битвы при Сомме было убито 20'000 человек. Но это не впечатляет столь же сильно, как виды разрушенного Берлина, Франкфурга, Кёльна, Майнца. Или как превращенный в руины Токио. Этот образ навсегда останется в моей памяти.

Постскриптум: «В некотором смысле я был более чувствительным к этим вещам, чем другие. Я вырос в Канаде. У моего отца был значительный авторитет в округе. И тогда как раз были споры об обоснованности Первой Мировой войны – многие считали, что это дело не очень-то касается канадских фермеров и местные шотландские кланы. Идея сопротивления никому не приходила на ум. Напротив, мой отец сам вызвался стать членом призывной комиссии, чтобы освободить от службы всех, кто не хотел на нее идти.

И вот, мое самое сильное воспоминание – сияющий весенний день 1918 года. У моего отца, а он был фермер, была сломана коленная чашечка, так что он не мог работать. И вдруг, откуда ни возьмись, со всех сторон к нам подъезжают конные упряжки с плугами и сеялками и с посевными семенами. Это были те люди, которых мой отец освободил от военной службы. Все наши поля были засеяны в 48 часов. Все это было сделано совершенно неожиданно для нас, как подарок.

Происходя из такой среды, я относился ко всей этой теме войны с гораздо меньшим энтузиазмом, чем многие мои сверстники. Я признавал необходимость Второй Мировой войны. В общем и целом я был рад, когда мы вступили в войну. В 1937-38 гг. я как раз был в Германии, и относительно природы гитлеровского режима не питал никаких иллюзий. После нападения на Перл-Харбор Япония тоже не оставила никаких сомнений. Но визуальное воздействие последствий авианалетов и весь их ужас по сей день остаются в моей памяти».ⁱ

i 2.2. The bombers and the bombed //John Kenneth Galbraith (p. 207-211). Пер. О. Никифорова.